

Майя Танина

ИЗБРАННОЕ



Майя Ганина

ИЗБРАННОЕ



**Рассказы
и повести**



МОСКВА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
1983

Р2

Г19

**Оформление художника
Н. КРЫЛОВА**

Г $\frac{4702010200-266}{028(01)-83}$ КБ-26-28-83

**© Предисловие, состав, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1983 г.**

Вот тяжелейшая для меня задача: рассказать о себе, представить читателю мое «Избранное»...

Что рассказать? В книжке этой — моя жизнь, то, что со мной приключалось от раннего детства до сей, вполне зрелой, если не сказать больше, поры. Я не умею выдумывать, фантазировать. Все, о чем я писала, начиная с опубликованной в «толстом» журнале («Новый мир», 1954) повести «Первые испытания» до вошедших в эту книгу «Нерожденных» (1979), чему подвергала я своих героев, так или иначе происходило со мной или на моих глазах. Прочтите эту книгу — будете знать, что я люблю и что ненавижу, где, в каких дальних краях успела побывать за тридцать лет азартных странствий по труднодоступным уголкам нашей страны и за рубежом. О чем думала, о чем мечтала, чем была сокрушена и чем обрадована в эти самые долгие и вместе с тем краткие тридцать лет...

О чем же рассказать? О чем главном?

Наверное, все-таки о детстве. Это справедливо, что человек, его пристрастия и привязанности, его будущая судьба закладывается в детские годы. Да не только для человека это истинно. Оглянитесь вокруг: дерево, животное, цветок. Каково семя, таково и племя, а каковы всходы, таков и урожай.

Так уж вышло, что родилась я ребенком неожиданным и нежеланным для матери. Прожила она с моим отцом совсем немного, а когда рассталась с ним, то меня взял к себе отец. Редкий случай, но бывает и подобное. Оглядываясь назад, я понимаю, что многим обязана и отцу и предназначению, распорядившемуся моим будущим.

Моя мать Лидия Васильевна Ильинская была уроженкой Владимира, отец Анатолий Андреевич Ганин — сибиряк. Оба они работали в Верховном суде СССР, отцу к моменту моего рождения было сорок лет, матери двадцать два. Мое рождение, конфликт с матерью испортили отцу юридическую карьеру: ему пришлось уйти из Верховного суда. Много чего потом с ним происходило, и все, так или иначе, косвенно отражалось на мне: время тогда шло серьезное, суровое. На пенсию батюшка вышел с должности инженера автозавода

им. Сталина в шестьдесят, как и положено, лет, а умер в 1974 году на восемьдесят шестом году жизни. . .

Об отце я писала много, пытаясь осмыслить его удивительную судьбу. В романе «Слово о зерне горчичном» (1965), в повести «Услышь свой час» (1976), в рассказах «Записки неизвестной поэтессы» и «Путь к нирване» (1966) — я говорила напрямую: вот — человек, вот — характер, и вот такая судьба. А в скольких моих вещах отец, опыт общения с ним присутствуют, так сказать, незримо! . . И будут еще присутствовать, я знаю это, потому что отец был человеком необычным, ярким, как, впрочем, и большинство его ровесников. Мало исследованное литературой поколение, на плечи которого легли сначала империалистическая война, потом революция, потом гражданская война и разруха, коллективизация, затем тридцатые и сороковые годы, а затем Великая Отечественная война. Жизнь от начала и до конца полная событий, сложностей, трагедий. Те, кто не погиб под колесом истории, оказались, как правило, долгожителями — вот что удивительно! В феномене том предстоит разобраться не только литературе, но и науке.

До самой школы я росла, в общем, взаперти. Жили мы с отцом, как теперь сказали бы, в однокомнатной квартире, а если точнее — в келье «высшего разряда» в бывшем монастырском доме на Воздвиженке, ныне проспект Калинина. Уходя утром на работу, отец меня запирал, возвращался он зачастую поздно — у него была какая-то своя личная жизнь, к тому же тогда он преподавал вечерами на рабфаке. Так что, особенно зимой, я месяцами почти не видела людей, привыкла занимать себя сама. Существовала в своем собственном, интересном мне мире. Читать я начала рано, лет с четырех, читала все подряд. Не только «Маугли» и «Жизнь животных» Сетон-Томпсона — любимые мои книги, но и «Сагу о Форсайтах», к примеру. Первый том я прочла лет в десять, помню его до сих пор в подробностях.

Надо полагать, именно это, на нынешний родительский взгляд, «жестокое» отца со мной обращение, скорее всего и способствовало тому, что я стала писать, когда пришло время. Первые свои стихи я сочинила в шесть лет, а уже потом писала что-то постоянно — то стихи, то прозу. Не для того чтобы выделиться таким

способом — наоборот, я, в общем, даже стеснялась этого сладкого греха, рассказывала о том, что пишу, только близким подругам. Впрочем, как водится, «секрет» этот вскоре стал известен многим, ибо подруги тайну мою разглашали охотно. Первую свою повесть я написала в пятнадцать лет; тогда уже шла война, я училась в Московском машиностроительном техникуме. Подружка тех моих лет, Маргарита, потрясенная объемом проделанного мною труда (две толстых тетради!) и вполне искренне считавшая, что ничего интереснее она за всю свою жизнь не читала, уговорила меня отнести сей труд в издательство. Мы выбрали Гослитиздат — как самое солидное, вручили эти две тетради главному редактору лично. Из стеснительности фамилию свою на титульном листе повести я не поставила, поэтому, надо полагать, она так и не увидела света. . .

Все это, понятно, не означает, что для того, чтобы сделать из ребенка писателя, следует посадить его на первые шесть-семь лет под замок. Конечно, существует и «предназначение», и «поцелуй бога в колыбели». . . Но для формирования личности, в себя углубленной, привыкшей жить «второй жизнью», подобно моей героине из «Нерожденных», — это сидение взаперти сделало, бесспорно, свое дело.

И страсть моя к дальним дорогам, которую я смогла удовлетворить лишь после окончания Литературного института (окончив техникум, я работала технологом на заводе, поэтому в Литинституте училась заочно), — тоже, наверное, следствие закона компенсации. Не израсходовала энергию движения в детстве — всю жизнь потом суждено мне было искать, жаждать дальних, трудных дорог, там и находить героев, судьбы, сюжеты для всего того, что я писала позднее. Дорогам, и только им, я обязана лучшими своими вещами. Рассказ «Настины дети» (полагаю, что с него я «началась» как прозаик) «нашла» я на станции Бискампжа на строящейся там железной дороге Сталинск — Абакан; рассказ «По Витиму — на материк» — когда ехала на пароходе с Ленских золотых приисков по той самой реке. «Марию-Антуанетту» — на Амуре; «Счастье» — на острове Сааремаа, «Дальнюю поездку» — в пути от Командорских островов к Курильским. Рассказ «Путь к нирване» я «услышала», когда ехала в кабине грузовика в пятидесятиградусную жару от Душанбе до Хорога по

великому Памирскому тракту. «Старые письма» — в экспрессе Москва — Иркутск. Опять же не надо все это понимать буквально. Просто ходят в тебе неоформленные до поры до времени мысли, характеры, судьбы. Образуется своего рода насыщенный раствор. И вот — пейзаж ли, услышанная ли фраза или человек с необычной судьбой (впрочем, для меня чаще всего пейзаж!) — раствор становится перенасыщенным, происходит кристаллизация.

Дорога способствует отключению от быта, свободному размышлению, дает возможность сравнивать и обобщать. Трудные дороги приучают к терпению, к упорству в достижении цели.

Но зачем одному человеку столько дорог? Честнее будет ответить: не знаю. Не разум, а зов крови гнал меня в путь. Сначала в Сибирь, потом, насытившись Сибирью, я стала рваться в Индию — если существует память генетическая, то, значит, в одно из своих прежних рождений я жила в Индии, потому что, приехав туда впервые, я многое как бы «вспоминала»... А Сибирь — это родное, знакомое тоже по крови и по бесконечным рассказам отца, был он великолепный рассказчик...

Поскиталась я подолгу, подробно по всем нашим крупным современным стройкам в Сибири и в России. Много раз ездила на КамАЗ и на БАМ. Писала о них много — очерки, рассказы, повести. Недавно закончила роман на материале этих поездок.

Восточный мудрец Авиценна изрек некогда, что «ум зреет не от долгой жизни, но от частых путешествий». Конечно, от долгой жизни ум зреет тоже, но путешествия безусловно способствуют созреванию того, кто имеет своей целью созреть. А вообще-то я считаю, что человеку посильно все, если, поставив в начале своего пути цель, он будет идти к ней терпеливо, не предаваясь отчаянию при неудачах, не обольщаясь успехами на легких отрезках пути. Ведь жизнь человеческая — та же дорога. Есть у нее начало, протяженность, тьма и солнце, есть и конец. Вероятно, поэтому герои большинства моих рассказов и повестей — в дороге...

М. Ганина

Июль 1982 г. Талей Моск. обл.

РАССКАЗЫ





1

Федор идет по раскисшей колее, тяжело перебрасывая длинные ноги в высоких валяных сапогах с калошами, размахивая руками. Знобко, сыро, полушубок расстегнут, промасленная фуфайка обвисла у ворота, открывая темную от металлической пыли шею.

Позади — огороженный высоким забором двор МТС, синий дымок над кузницей, пресный запах окалины и сухой малиновый жар остывающих поковок, матерок дружков-трактористов. Впереди, за поворотом — село. Длинная россыпь изб с заснеженными крышами, над каждой трубой колеблется розовый в заходящем солнце дым. Сегодня суббота.

Ветер, сильный, сырой, так и толкает встречу, мешает идти. Ноги устали месить раскисшую бурую кашу — талый снег пополам с глиной, валенки промокли, ноют пальцы. И все-таки хорошо! Федор оглядывается по сторонам на обледенелые, мокро и розово блестящие поля, улыбается. Сейчас помыться, переодеться, а там можно и в клуб сходить.

Он взбегает на крылечко крайней неказистой избы с крытым двором, наскоро шаркает калошами о веник, проходит в избу.

В избе — жаркий парной воздух, в закутке между окном и печью дымится корыто с намоченным бельем, возле, на полу, еще огромный ворох пеленок, мужских рубаш, цветных наволочек, исподних юбок. Мерно покачивается раскрашенная, как деревянная ложка, зыбка; в ней спит, открыв крошечный бледный ротик, трехмесячная Маша. На длинном сундуке, застланном лоскутным одеялом, Настя одевает полугодовалого Леньку и толкает изредка зыбку, чтобы не остановилась.

Ленька молча сопит, вырываясь из рук матери, трясет взъерошенными прядками мокрых волос. Услышав, что хлопнула дверь, Настя оглядывается.

— Батя пришел! — говорит она. Надевает на Ленку длинную, сшитую как платье бумазейную рубашу, сует в одну руку сушку, в другую — зелененькое деревянное яичко, приговаривает: — А вот Ленечке папы́ дали, кушай, батюшка! А вот Ленечке яичко дали, он играть станет. . .

Ленька сжимает сушку и яичко, внимательно, почти не моргая, смотрит на высокого чумазого человека. За неделю он отвыкает от отца, тем более что Федор и в эти-то малые часы, что бывает дома, почти не занимается с ним. Не умеет он, да и неохота.

Насте едва исполнилось девятнадцать лет, поженились же они, когда Федору шел двадцатый год, а ей не было и семнадцати. Мать Федора вздыхала, глядя на них: дети малые, несмышленные. . . Федор почти не изменился за эти два с половиной года: все та же юношеская припухлость в уголках губ, мальчишеский хитроватый и горячий взгляд светлых глаз, а про Настю сразу скажешь: женщина, детная. Мягкие тонкие губы озабоченно сжаты, лицо с выступающими скулами спокойно и деловито. Беленькие, мокрые после бани волосы прилизаны, заплетены в косички и заколоты.

— В баню пойдешь?

Федор кивнул, продолжая стоять посреди избы в полушубке и калошах, словно чужой. Он не любил попадать домой во время уборки, стирки, вообще каких-то домашних дел, которые время от времени затевала Настя.

— Раздевайся. Сейчас маманя вернется и пойдешь. Я покуда белье соберу.

Вошла мать Федора, высокая, как и сын, крепкая старуха с черными усиками над верхней морщинистой губой. Узелок с грязным бельем она бросила в общую кучу к корыту, произнесла коротко:

— Постирашь.

Сняла платок и перед длинным темным зеркалом, висевшим на стене, начала раздирать гребешком жидкие волосы.

Федор париться не любил, вымылся быстро. Когда он вернулся, на столе уже стояла кринка с молоком, большая миска со щами и каша, запеченная в глиняной

плошке. Мать сидела прямо, черпала деревянной ложкой щи, громко хлебала. Настя, видно, уже наспех поела и возилась у корыта. Голова ее повязана теперь, как и у свекрови, платочком, концами назад, одета она в темную ситцевую кофточку с завернутыми выше локтей рукавами и кубовую, еще из материнного приданого, длинную юбку. Она быстро перебирала белье в корыте красными руками, низко склоняя маленькое скуластое лицо.

Мать подняла с сундука Леньку и, посадив на колени, принялась кормить щами. Федор неловко ткнул сына пальцем в бок и улыбнулся ему, когда тот, закинув голову, начал снова глазеть на отца.

— Не ко времю игрушки затеял, — сердито оттолкнула его мать. — Дай поест парнишке.

— Пуцай поест, — равнодушно согласился Федор, похлебав щей и поднялся. Он достал новую шелковую рубашку, наглаженные брюки, снял с зеркала галстук.

— Куда? — настораживаясь, спросила мать.

— В клуб.

— Не пойдешь!

Федор молчал, тщательно зачесывая назад волосы, глядя в темное кривое зеркало, где расплылось широкое румяное лицо.

— Не пойдешь! — повторила мать, снимая с колен Леньку. — Настька, возьми малюго!

Настя, вытерев руки, подошла и, крепко прижав к себе сына, сумрачно глядела на Федора.

— Не пойдешь! — крикнула мать снова и рванула из рук Федора галстук. — Хватит мне сраму от людей! Не парень ведь уже, кобелина этакий. Ивушка-то Сысов ноги обещал поломать тебе за Веруньку.

Федор оперся плечом о стену, сунул руки в карманы брюк и глядел на жену и мать, сердито и смущенно улыбаясь.

— Молодой я еще, не нагулялся! — сказал он. — Вот тридцать годов сравнятся — и сам никуда не пойду. А покуда дома ты меня, маманя, не удержишь, хоть розорвись!

— Розорвись? — крикнула мать. — Не удержишь? А эти? Эти? — Она вскочила, вырвала из рук Насти Леньку, стала совать его Федору.

Заколыхалась люлька, раздались сиплые поскрипывающие звуки. Настя затрясла зыбку, быстренько за-

пела что-то, однако маленькое тельце недовольно корчилось, выдирались из свивальника ручки, широко раскрывался ревуший рот.

Федор слышал грубый голос матери, шепоток жены, плач ребенка. «Зачем женился?» — в которой раз тоскливо подумал он, оглядывая избу и этих трех совсем лишних здесь — женщину, чужую ему сейчас, и маленьких, надоедных. . .

— Уйду! — глухо выдавил он из себя. — Тошно, заели вы меня вовсе! Ни дыхнуть, ни охнуть. . . — Он пошел к двери, схватил шапку, полушубок, начал торопясь совать ноги в валенки.

Настя выпрямилась, сразу покругтели и стали заметными на маленьком личике светлые глаза.

— Феденька! . . — побледневшими губами попросила она. — Феденька, родимый, не уходи-и! — заголосила она совсем по-детски жалко и бросилась к нему, цепляясь за воротник полушубка.

— Уйди, зануда! — зло выкрикнул Федор и с силой оттолкнул ее.

Выскочил на улицу. В сердце мешались раскаяние, жалость, злость. Уйти бы от всего этого, забыть! Но куда уйдешь? Попробуй уйди, найдут, повиснут на шее, слезами измочат. Оставалось одно: идти и пить. В сельскую чайную нельзя, туда, конечно, сейчас же прибегут либо мать, либо Настя. Он пошел на станцию.

В лесу за линией болезненно белели редкие березы, небо тяжело навалилось на черные голые ветви, воздух был густой и сырой, дышалось с трудом.

2

Шел октябрь. Порошистый снег уже прикрыл жесткую, как проволока, траву. Ковш экскаватора, пошаркав по земле, зацепил зубьями под корни ближний кедр. Некоторое время и кедр и рукоять экскаватора дрожали в напряжении, испытывая, чья возьмет, потом что-то хряснуло, кедр качнулся, разрывая корнями мерзлую дернину, продрался ветвями сквозь гущу других и рухнул оземь. Перед кабиной экскаватора поднялся, заслонив на мгновение свет, мелкий снежок, из рваной, в полметра глубиной ямы пошел пар.

Трактором оттащили кедр в сторону, стрела экскаватора была занесена над следующим.

Работали, пока было светло, пробили небольшой коридор, метров сто в длину и метра четыре шириной. Ночевали по-охотничьи, у костра. Варили кашу с салом, пили спирт, закусывая черствым хлебом и кусками соленого омуля.

Федор полулежал на полушубке, брошенном на землю, подвинув ближе к огню длинные ноги в замасленных ватных штанах. На голове грязная шапчонка блином, из-под которой вихрами торчат по бокам русые волосы. Лицо его огрубело, но по-прежнему красиво.

Прошло почти шесть лет с тех пор, как неожиданно, от сердечного приступа умерла мать Федора. Он продал дом, забрал жену, детей и уехал. Первые два года хватался то за одно, то за другое и наконец вот попал в тайгу на строительство железной дороги. Уже три года работает он здесь в мехколонне экскаваторщиком. Семья его живет километрах в двадцати от места работы, в поселке. Они поставили свой домик, завели корову, полгода назад у них родился еще сын. Настя мечтает остаться тут навсегда. Федору же работа здесь нравится тем, что он снова чувствует себя совсем свободным. У него много приятелей, по воскресеньям они уходят в тайгу, охотятся. Домой он заглядывает не часто, дети и жена привыкли к этому и приходы его воспринимают как нечто необычное, даже нежелательное: трезвым дома Федор бывает редко.

На следующий день начали работать еще затемно. До обеда перед глазами Федора монотонно переворачивалась земля, падали деревья, летел снег, и все звуки заглушало неторопливое потрескивание выхлопов и лязг ковша. В обед все стихло, и тишина казалась ему непривычной и утомительной.

Неожиданно далеко-далеко, там, где кончалась проезжая дорога и начиналась просека, послышалось тахтание машины. Гости к ним. Скоро на просеке показались двое. Федор узнал их: один был сосед его по поселку шофер Иван Павлович, другой — экскаваторщик, работавший раньше на отсыпке земляного полотна, неподалеку от поселка.

Иван Павлович еще издали начал ругаться, кричал, чтобы помогли тащить мешок с хлебом. Федор пошел

навстречу, принял мешок, отнес к месту стоянки. Иван Павлович, свернув козью ножку, закурил.

— Собирайся, — кивнул он Федору. — Настя твоя захворала, в больницу отвезли. Вот мужик сменит тебя.

Федор не сразу понял, чего он от него хочет, когда же понял, пожал плечами:

— А я что? Не врач... Заболела, небось вылечат.

— Так ребятишки ведь остались одне... Меньшой орет круглы сутки. Леньку измучал. Моя Галина к ним захаживает, да все не свой глаз. — Иван Павлович помолчал, потом, понизив голос, сообщил: — Помират Настя-то. Рак у ей...

Федор медленно прислонился к гусенице бульдозера.

— Вот оно что...

Приехали в поселок. Иван Павлович пошел в контору, Федор двинулся к дому. Постоял, держась за шаткий, из длинных жердей (не мужскими руками связанный!) загород, вошел в сени. С улицы в нос ударил влажный запах картошки, рассыпанной для просушки; на столике — кринки с молоком, аккуратно обвязанные чистой марлей, на полу валяется красный с разводами Настин платок. Со слабой надеждой Федор открыл дверь в избу.

— А-а, а-а! — устало и безнадежно плакал в зыбке меньшой.

Возле сидел семилетний Ленька и тряс зыбку. На широком, чисто застланном деревянном топчане спала, свесив руку, Маша. Рыжие жиденькие волосенки растрепались по подушке, на щеках грязные разводы от слез.

Услышав шаги, Ленька вскинулся, маленькое измученное лицо осветилось, потом потухло. Ничего не сказав отцу, он опустил голову и снова принялся трясти зыбку.

Федор медленно обшаркал ноги о чистую дерюжку возле двери, ступил на белые скобленные половицы. Он отвел Ленькину руку и, остановив зыбку, разглядывал сжимающееся в усталых судорогах тельце. Глаза сожмурены, рот равномерно хватает воздух, издает хриплые звуки, кулачки сжаты и поднимаются и опускаются в такт с дыханием.

— Чего орет? — хмуро спросил Федор.

— Сиську выплакиват, — серьезно объяснил Ленька. — Мал еще. Не отняла его мамка-то.

— Не желат коровьего молока. Живот ему, видать, с него пучит, — сказала неслышно вошедшая соседка, тетя Галя. — Еще не подкармливала его Настя...

Она помолчала, послушала, как, задыхаясь, кричит в зыбке младенец, и равнодушно сказала:

— Видать, помрет. Мал еще, куда он без матери!

Губы Леньки скривились, он посмотрел на отца расширенными, заблестевшими глазами, как будто сейчас, перед чужой женщиной, понял, что отец все-таки близкий человек, обязанный защищать их и отвечать за них. Федор молча принял этот детский взгляд и, неловко вынув младенца из мокрых тряпок, поднял на воздох, оглянулся, ища, во что бы завернуть. Сдернул со стены чистый утиральник, накинул на голые скрюченные ножки. Распахнул пропахшую соляркой телогрейку, сунул обмякшее тельце к теплу, к груди. Ребенок замолк и начал жадно искать ртом, выворачивая голову.

— Дай-кося бутылку ему, — прошипела тетя Галя и сунула Федору четвертинку с молоком. — Может, поест, болезный.

Маленькие полопавшиеся губы нашли соску и брезгливо вытолкнули ее, потом нашли еще раз, потянули, потянули снова. Молоко в четвертинке булькало, убывая, крошечные пальцы шарили по рубашке.

— А ты расстегни, расстегни рубашку-ту, — тем же свистящим шепотом посоветовала тетя Галя. — Пушай он за голо тело подержится. Соскучал небось.

Федор расстегнул рубашку, мокрые холодные пальчики скользнули по груди, ощупали гладкое безволосое тело и успокоились, доверчиво прижавшись, обманывая себя. Губы все еще сосали, а глаза уже были плотно закрыты — он спал, посасывая, всхлипывая и вздрагивая во сне.

— Вот что, — сказал Федор, хмуро взглянув на Леньку и почему-то избегая называть сына по имени. — Собери какие есть тряпки да молока литру поставь в сумку. Я к матери поеду, его с собой возьму... Да мне, если есть, кусок хлеба сунь, — добавил он, помолчав.

Ленька вышел во двор, принес сухие пеленки, погрел одну у плиты и протянул отцу: